



Василий Мантуленко

Изгнанники

Василий Мантуленко

Изгнанники

<https://litres.ru/74149289>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Изгнанники» — это не политический манифест, а история о простых людях, оказавшихся в эпицентре событий, которые сильнее их. О том, что даже в изгнании можно построить дом, если не бояться заново учиться доверию и любви. Книга о том, что самое страшное путешествие — это не смена страны, а потеря самого себя. И о том, что возвращение возможно — но только если оно происходит не вовне, а внутрь себя.

Содержание

ИЗГНАННИКИ	4
Роман о новых скитальцах	4
КНИГА ПЕРВАЯ. НОВЫЙ ГОРОД	5
Глава I. Прибытие	5
Глава II. Кафе «Прогулка»	13
Глава III. Дима	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

ИЗГНАННИКИ

ИЗГНАННИКИ

Роман о новых скитальцах

«Много говорит человек о родине, пока не лишится её; лишившись же, узнаёт, что родина была не в паспорте, а в том, кем он успел стать, покуда жил на ней»

КНИГА ПЕРВАЯ. НОВЫЙ ГОРОД

Глава I. Прибытие

Сергей Аркадьевич Верейский прилетел в Тбилиси в конце сентября — налегке, с одним чемоданом и рюкзаком, в котором помимо ноутбука и смены белья лежал потрёпанный том Бердяева, купленный ещё в институте и с тех пор таскаемый по всем переездам его жизни, как таскают за собой упрямую, необъяснимую привычку, от которой давно нет практической пользы, но расстаться с которой почему-то страшнее, чем с иным живым человеком.

Ему было сорок два года — возраст, в котором человек, по всем расчётам зрелой жизни, должен уже твёрдо стоять на ногах, знать себе цену, видеть перед собой понятную, хоть и не всегда радостную, но предсказуемую дорогу вперёд; возраст, в котором пересматривать основания собственного существования уже как будто не полагается, ибо всё главное давно решено — профессия выбрана, семья создана, привычки устоялись, и остаётся только доживать накопленное, потихоньку стареть, воспитывать сына, готовиться к пенсии, — а вместо всего этого Сергей Аркадьевич сидел теперь в самолётном кресле, летящем в неизвестность, и чувствовал себя не сорокадвухлетним профессором, а перепуганным

восемнадцатилетним юношей, впервые покидающим отчий дом, только без той сладкой тревоги первооткрывателя, какая бывает у восемнадцатилетних, а с одной лишь горькой, взрослой тревогой человека, знающего цену тому, что он теряет, и не знающего цены тому, что приобретает взамен.

До недавнего времени он преподавал русскую литературу девятнадцатого века в одном из московских университетов — не самом громком, но и не последнем, — и вёл ту размеренную, слегка сонную жизнь провинциального по духу, хоть и столичного по прописке интеллигента, какую ведут тысячи людей, полагающих, что главные потрясения истории случаются с кем-то другим, не с ними, что история — это то, что происходит в учебниках и телевизоре, а собственная жизнь течёт себе своим чередом, независимо от больших событий, будто под неким невидимым куполом, защищающим частное существование от вторжения истории. Он читал студентам лекции о «маленьком человеке», о том, как Акакий Акакиевич теряет шинель и вместе с ней — весь смысл своего скромного бытия, и произносил эти слова с той академической отстранённостью, с какой хирург, ни разу не болевший сам, рассуждает о природе боли, — не подозревая, что очень скоро сама история постучится в его собственную квартиру, и не метафорически, а самым буквальным образом, голосом диктора, объявляющего частичную мобилизацию, и что ему самому предстоит в одну ночь стать тем самым маленьким человеком, чью жизнь переворачивает нечто неизмери-

мо большее, чем он сам, — не потеря шинели, а потеря всего привычного порядка вещей разом.

Жена его, Марина, наотрез отказалась ехать — «брось, Серёжа, тебе сорок два, тебя не тронут, а Мишку срывать с занятий перед экзаменами я не стану», — и произнесла она это с той спокойной, почти будничной уверенностью, с какой люди привыкли отгонять от себя мысли о собственной уязвимости перед лицом больших исторических катастроф, полагая в глубине души, что катастрофы эти касаются кого угодно, только не их конкретной, обжитой, налаженной жизни. Сергей Аркадьевич помнил в мельчайших деталях тот вечер: как они сидели на кухне, как за окном шумел вечерний город, не подозревающий, что для тысяч своих жителей этот вечер станет последним вечером их прежней, цельной жизни, как Марина резала овощи для салата тем же самым спокойным, отработанным годами движением, каким резала их каждый вечер последние двадцать лет их брака, и как это спокойствие, это обыденное, невозмутимое движение ножа по разделочной доске, вдруг показалось ему невыносимым, почти оскорбительным на фоне того, что творилось в его собственной душе, — паники, животного, неконтролируемого страха, какого он не испытывал, кажется, никогда прежде за все свои сорок два года благополучной, кабинетной жизни.

Он вспоминал потом, снова и снова, прокручивая эту сцену в бессонные тбилисские ночи, как несколько раз за тот ве-

чер порывался сказать жене что-то важное, какое-то последнее, решающее слово, которое расставило бы всё по местам, — и как каждый раз слова эти застревали у него в горле, потому что он сам ещё не знал, чего хочет сказать: остаться ли, разделяя судьбу со всеми, кто остаётся, или бежать, спасая единственную жизнь, которая у него была, и права распорядиться которой, как ему казалось в ту минуту, никто не мог у него отнять, даже история, даже родина, даже жена, с которой он прожил двадцать лет и которую любил, кажется, всё ещё по-настоящему, несмотря на всю рутину, накопившуюся между ними за эти годы, как накапливается ил на дне спокойной, медленно текущей реки.

Он принял решение — впервые в жизни, вопреки всем своим принципам, вопреки самой природе своей нерешительной, книжной, привыкшей взвешивать и сомневаться души, настоял на своём: уехал один, оставив жену и шестнадцатилетнего сына в московской квартире, полной книг, которые он теперь не знал, суждено ли ему когда-нибудь снова открыть, полной запахов, звуков, привычек двадцати лет совместной жизни, которые он унёс с собой не в чемодане — там не было места для запахов и звуков, — а где-то глубоко внутри, в том потаённом уголке памяти, куда человек прячет самое дорогое, зная, что рано или поздно придётся туда заглянуть снова, и заглянуть будет больно.

Он вспоминал впоследствии, что самым страшным в ту ночь было вовсе не решение как таковое, а те несколько ми-

нут между звонком в такси и звуком захлопывающейся входной двери — минуты, в которые он ходил по квартире, трогая руками вещи, которые не мог взять с собой, будто прощаясь не с людьми даже, а с самими предметами их общей жизни: с корешком любимого кресла, продавленным именно в том месте, где годами сидел он сам по вечерам с книгой; с царапиной на дверном косяке в комнате сына, где были отмечены карандашом года его роста, начиная с трёх лет и до последней отметки, сделанной месяц назад, — Мишка вырос за минувший год на шесть сантиметров, и Сергей Аркадьевич, глядя на эту цепочку чёрточек, поднимающуюся год за годом всё выше по белой краске косяка, вдруг с пронзительной ясностью осознал, что следующую отметку, если она вообще будет сделана, он уже не увидит своими глазами, не приложит линейку своей рукой, не воскликнет с привычной отцовской гордостью «ну ты и вымахал, сын!» — и что-то в груди у него в ту минуту оборвалось столь ощутимо, физически, что он даже прижал ладонь к рёбрам, будто пытаюсь удержать нечто, готовое выпасть наружу.

Марина в ту ночь не плакала — во всяком случае, не при нём; она стояла в дверях кухни, скрестив руки на груди в той защитной позе, что появлялась у неё всегда, когда она сдерживала слишком сильное чувство, боясь, что, дай ему волю, оно разрушит всю с трудом сохраняемую видимость спокойствия, необходимую сейчас им обоим, чтобы просто пережить эту ночь без окончательного срыва. Сын спал —

или делал вид, что спит, — в своей комнате, и Сергей Аркадьевич, уже взяв в руки чемодан, зашёл к нему на минуту, постоял в темноте над кроватью, вслушиваясь в ровное, притворное дыхание шестнадцатилетнего мальчика, которого ему предстояло не увидеть теперь неизвестно сколько времени, и не решился разбудить его для прощания — не потому, что не хватило духу, а потому, что боялся: если Мишка сейчас откроет глаза, посмотрит на него тем взглядом, каким смотрят дети на родителей в минуты настоящей беды, он, Сергей Аркадьевич, не найдёт в себе сил переступить порог квартиры вовсе, останется, и тогда неизвестно, что будет с ним самим через полгода, через год — та ли участь, что постигла отца Кости, о котором он ещё не знал тогда, а узнает только здесь, в Тбилиси, из уст другого молодого человека, чья судьба окажется странным эхом того выбора, что Сергей Аркадьевич сделал этой ночью.

В аэропорту Тбилиси его никто не встречал — да и некому было встречать, ибо все его тбилисские связи сводились на тот момент к переписке в телеграм-чате «Релокация Тбилиси: помощь и советы», куда он вступил накануне вылета и где какая-то незнакомая женщина по имени Оля посоветовала ему район Ваке как «самый спокойный, но и самый дорогой» и оставила номер риелтора, — связи, столь же эфемерные, сколь и единственно доступные человеку, оставившему позади все связи настоящие, выстроенные десятилетиями общей жизни, общих застолий, общих похорон и свадеб,

общего языка, понятного без слов.

Выйдя из здания аэропорта в тёплый, пахнущий бензином и хачапури вечер, Сергей Аркадьевич испытал чувство, которое он попытался бы описать студентам как «отчуждение по Достоевскому» — то самое чувство человека, перенесённого из привычного мира в мир, где всё узнаваемо и всё чужое одновременно: вывески на грузинском и русском вперемешку, таксисты, зазывающие клиентов на смеси языков, гортанные звуки чужой речи, доносящиеся отовсюду и создающие ощущение, будто он оказался внутри какого-то немого, но многословного фильма, где все реплики произносятся, но ни одна не предназначена лично для него; тёплый, влажный воздух южного вечера, столь непохожий на промозглый московский сентябрь, из которого он только что вылетел, будто попал не просто в другой город, а в другое время года, в другую физику существования; и где-то в глубине этого нового, шумного мира — щемящее чувство, что где-то там, в четырёх часах лёту, осталась квартира, где сейчас, наверное, сын делает уроки, а жена варит на кухне борщ, не зная ещё, как долго придётся жить в разлуке с мужем, который сам этого пока тоже не знал, и что чувство это, острое сейчас, как открытая рана, со временем не пройдёт, а лишь притупится, превратившись в тупую, привычную, фоновую боль, с которой человек в конце концов учится жить, как учится жить с хронической болезнью, забывая порой о ней на часы, а то и на дни, чтобы затем, в самый неожиданный

момент — при виде похожего на сына мальчика на улице, при звуке знакомой песни в чужом кафе, — вспомнить о ней с новой, обжигающей силой.

Глава II. Кафе «Прогулка»

Через неделю, обжившись в съёмной квартирке на Вере — не в дорогом Ваке, как советовала Оля, а в районе попроще, ближе к его скромному бюджету фрилансера, — Сергей Аркадьевич обнаружил кафе, которому суждено было стать на ближайшие месяцы его вторым, а порой и первым домом, тем местом, где одиночество, разъедавшее его изнутри в четырёх стенах съёмной квартиры, становилось хоть немного терпимее оттого только, что рядом, за соседними столиками, сидели люди, переживавшие, каждый по-своему, ту же самую разновидность одиночества, — одиночество не физическое даже, а метафизическое, одиночество человека, вырванного из контекста собственной жизни и заброшенного в пространство, где никто не помнит его прежним, никто не может сказать «а помнишь, как ты был в институте», никто не разделяет с ним ни общего прошлого, ни, что куда важнее, общей боли о настоящем, разворачивающемся где-то там, за горами, за границей, в стране, которую они все покинули, но от которой, как выяснялось день ото дня всё яснее, никто из них никуда по-настоящему не убежал, ибо она продолжала жить внутри каждого — в снах, в новостных лентах, в дрожащих руках при звонке от родных.

Кафе называлось «Прогулка» — хозяйка, немолодая уже женщина из Ростова по имени Людмила Петровна, открыла

его на первые же деньги от продажи квартиры в России, рас-судив, что релокантам нужно место, «где можно сидеть с но-утбуком часами и не чувствовать себя попрошайкой», и ме-сто это, обставленное потёртой, но уютной мебелью, найден-ной по случаю на местных барахолках, с книжными полками, куда постояльцы приносили прочитанные книги для других постояльцев, с неизменным, чуть подгоревшим, но каким-то удивительно домашним по вкусу кофе, стало за считанные месяцы своего рода неформальным консульством для тех, у кого не было больше настоящего консульства, к которому можно было бы обратиться без опаски.

По вечерам за столиками сидели десятки людей, похожих друг на друга той общей чертой, которую вскоре Сергей Ар-кадьевич научится замечать в каждом новом лице прежде, чем успевал узнать имя его обладателя: смесь облегчения от-того, что вырвались, и вины оттого, что вырвались не все, — чувство настолько универсальное среди новых знакомых, что оно стало здесь чем-то вроде негласного пароля, объеди-нявшего самых разных, часто вовсе непохожих друг на друга людей — программистов и художников, врачей и юристов, отставных военных и вчерашних студентов — в некое подо-бие общей, невидимой миру семьи, семьи людей, потеряв-ших дом не в смысле крыши над головой, а в куда более глубоком, экзистенциальном смысле: в смысле утраты того ощущения укоренённости, само собой разумеющейся при-надлежности к месту и людям, какое человек обычно пере-

стаёт замечать именно потому, что оно всегда при нём, — и замечает лишь тогда, когда его вдруг не остаётся вовсе.

Именно здесь, за чашкой кофе, который он пил теперь один, без Марины, привыкшей делить с ним утренний ритуал — тот особый, почти священный ритуал двадцатилетнего брака, когда молчание за завтраком говорит больше, чем любые слова, потому что оба знают, что думает другой, и не нуждаются в озвучивании очевидного, — Сергей Аркадьевич познакомился с человеком, ставшим для него на долгое время самым близким — и самым спорным — собеседником в изгнании: Артёмом Ковалёвым, тридцатипятилетним основателем небольшой, но прибыльной IT-компании, релоцировавшимся в Тбилиси ещё в марте, за полгода до Сергея Аркадьевича, и успевшим, судя по всему, устроиться здесь куда основательнее и куда счастливее, чем большинство соотечественников, — человеком, чья уверенная, чуть насмешливая манера держаться скрывала, как выяснится много позже, куда более сложную и болезненную внутреннюю жизнь, чем можно было заподозрить по его отутюженным рубашкам и неизменно бодрому виду.

— Вы преподавали Достоевского, значит, — сказал Артём, услышав от общего знакомого профессию нового постоянного кафе, и в голосе его послышалась та лёгкая ирония, с какой успешные технари обычно говорят о гуманитариях, ирония, впрочем, беззлобная, скорее защитная, свойственная людям, привыкшим скрывать за скепсисом собственную

неуверенность в вопросах, не поддающихся расчёту и оптимизации. — Тогда вы, наверное, лучше меня понимаете, что мы все теперь проживаем.

— Что же именно? — спросил Сергей Аркадьевич, ощущая тот особый, почти профессиональный азарт, какой охватывал его всякий раз, когда разговор сворачивал в сторону литературных аналогий, — азарт преподавателя, вдруг обнаружившего благодарного, хоть и незапланированного слушателя.

— Записки из мёртвого дома, только наоборот, — усмехнулся Артём, отхлёбывая свой кофе с видом человека, довольного собственной остротой. — Не тюрьма, из которой некуда бежать, а свобода, к которой некуда возвращаться. Забавно, правда? У Достоевского каторжник мечтал о воле. А мы, получившие волю, не знаем толком, что с ней делать, и половина из нас втайне мечтает о доме, из которого сама же и сбежала. Вот вам, кстати, тема для новой диссертации, профессор: свобода как форма заключения. Никто ведь не пишет докторских на эту тему, а зря — материала, — он обвёл рукой зал кафе, полный точно таких же, как они, растерянных, ищущих людей, — материала здесь на десять диссертаций хватит.

Сергей Аркадьевич улыбнулся — впервые за долгое время улыбнулся не вежливо, для приличия, а искренне, ощутив в этом циничном, но точном замечании нового знакомого нечто, что немедленно расположило его к дальнейшему

разговору, ту редкую способность иных людей формулировать общее, невысказанное чувство целой группы людей в одной короткой, ёмкой фразе, — способность, которую он, как преподаватель литературы, ценил в текстах девятнадцатого века и вот теперь неожиданно обнаружил в устах молодого предпринимателя из XXI века, помешанного, казалось бы, лишь на своих алгоритмах и метриках роста.

Глава III. Дима

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.